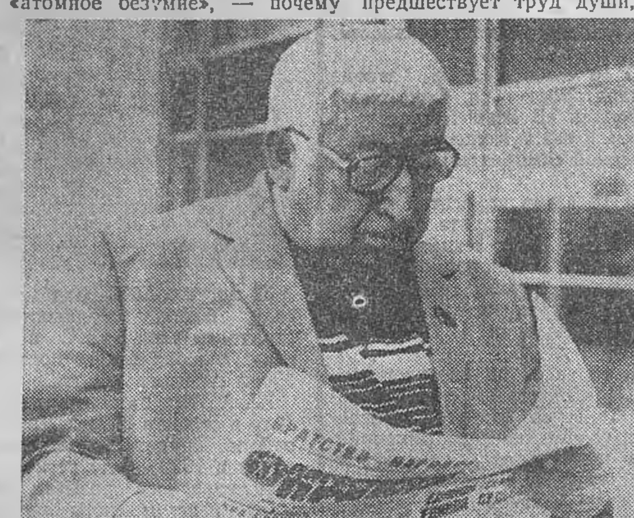
3/IX-83. Дагестан. правда, 1983, № 205

Расул Гамзатов: ВЫСОКИЕ ЗВЕЗДЫ



ОДНИ пишут стихи, потому что умеют, другие потому, что им кажется, что умеют, а третьи не пишут, но, может, они-то и есть милостию божьей художники.

ЧТО ТАКОЕ поэзия? У каждого свое объяснение. Молодая горянка, впервые познавшая чудо любви, воскликнула, взглянув утром в окно: «За ночь деревья стали в цвету!» Старая мать удивилась: «Где ты видишь цветы? На дворе поздняя осень, то снег уже выпал...» Так утро одной показалось весенним, другой — осенним. Что такое поэзия, что такое любовь? Для меня поэзия очень похожа на любовь. Без поэзии, как без любви, не было бы таинства красоты, волшебства преображений. Горы без поэзии—простое нагромождение камней, солнце — небесное тело, излучающее тепловую энергию, пение птиц — призывы самок самцами, а трепетание сердца — всего лишь учащенное кровообращение. Конечно, есть надежда и доброта, гордость и гнев, жалость и нежность, но все они, эти понятия, рождены поэзией, как и поэзия рождена ими.

Когда моего героя Абуталиба спрашивали, сколько раз он влюблялся, он отвечал: «Тысячу». «Не много ли?» — «Я написал тысячу стихотворений, а каждое — любовь». Любовь движет пером поэта. Но не надо понимать упрощенно, что вся поэзия — объяснение в любви. Когда объясняешься бесконечно, признание обесценивается. Поэт говорит во имя любви: любви к отчему дому, к земле, к людям, ставшим ему дорогими, к единственной женщине.

Мы знаем историю любви Шекспира, Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского, Есенина... — они свою любовь в чадре не держали. Когда читаю некоторых современных поэтов, у меня такое впечатление, что они сами не знают, кого любят. Раньше у нас в горах женщина носила чадру, а стихи были открытые, смелые, распахнутые взору, а сейчас женщина свободна, а стихи о ней — в чадре. Как будто автор обращается к портрету, а не к живому человеку. Тема о женщине — о матери, о любимой, казалось бы, сугубо личная, но она становится социальной, гражданской, общечеловеческой — все зависит от ее звучания.

Вся поэзия — это «люблю» и «не люблю». Но есть еще третье — суд. О поэзии можно сказать: «Суд идет», и я назвал так свою новую книгу, которую пишу сейчас. Мы все перед судом совести, перед судом правды. Поэт вызван в качестве свидетеля на великий суд истории. Свидетель, как требует суд, дает обещание говорить правду, и только правду, иначе его ждет наказание. Если поэт даст неверные показания, кара может быть страшной: он перестанет существовать, как поэт, неминуема его гибель. Но творец — не только свидетель. Его внутренний голос — сам суд. Лучше не иметь таланта, чем талантливо служить лжи, давать нечестные показания на суде истории. Чем талантливее преподносится неправда, тем хуже для человека.

Что сказать, что утверждать, что отрицать — это главное. Трибуна поэта — его письменный стол, за ним он с целым миром говорит. Здесь он и свидетель, и судья, и защитник. Я пишу книгу о том, как поэт и поэзия ведут бой со злом — с фальшью, равнодушием, лицемерием... Книга — суд, на котором поэт дает ответ: что он сделал для утверждения добра, для того, чтобы человек не знал горя, дает ответ, как защищал он человека в человеке, как помогал ему.

ПРИРОДА — самый лучший художник. Есть люди, которые понимают язык природы, а есть «глухие» и «слепые». Поэты — переводчики языка природы. Природа вечна — погода меняется. Природа гениальна — погода конъюнктурна. Природа — первая статья Конституции Поэзии, не случайно говорят: божий дар. Вторая статья: опыт времени, движение жизни и души, события и потрясения, которые оставляют разные следы в творчестве художника.

Мы привыкли делить поэтов — военное, послевоенное поколение, рабочий поэт, комсомольский поэт, а это поэтическим законом противопоказано. Но одно я знаю: если бы не было таких масштабных, огромных событий, не было бы и многих крупных поэтов. Великая Отечественная война выдвинула прекрасных художников слова. События 50-х годов, когда заново осмысливалось недавнее прошлое, тоже сыграли известную роль в том, что поэзия пополнилась замечательными именами. Многие спрашивают: а как же сейчас, когда над планетой нависла зловещая тень ядерной катастрофы, когда в нашу повседневную жизнь вошли страшные слова «нейтронная бомба», «атомное безумие», — почему сегодня поэзия такая тихая, почему наша молодежь не выдвигает из своей среды ярких, яростных, дерзких? Думаю, недолго нам осталось их ждать. В мире тревожно, а когда боль, беспокойство рассеяны в воздухе, тогда музы не молчат. Борьба, потрясения жизни вызывают и бурю в поэзии. Раньше человек за свой аул отвечал, теперь — за весь мир. Нас никто не заставляет великими себя мнить, но и маленькими быть, мелкими нам тоже никто не позволит.

ПОЭТ не должен быть тенью своего времени. Случилось и со мной такое: было это, когда нашего героя Шамиля оболгали, назвали англо-турецким агентом, объявили, что он не воевал за свободу народов Дагестана, а разжигал вражду между народами. Я написал стихи, разоблачающие Шамиля. Я не ведал истории, не понимал сути происходившего, я был похож на того горца, который листает коран, не зная ни одной арабской буквы, но при этом испытывает восторг. Поэт не может быть тенью. Слово Поэзия всегда огонь, источник света, пусть слабенький огонек, но и слабый, и сильный свет не отбрасывает тени, от света — только свет. В поэзии надо быть самим собой. Надо приходить в нее с добрыми чувствами, тогда их можно пробудить у других. Поэзия и хитрость, поэзия и малодушие несовместимы.

На сабле Шамиля горели
Слова, и я запомнил с детства их:
«Тот не храбрец, кто в бранном деле
Думает о последствиях!»
Поэт, пусть знаки слов чеканных
Живут с пером твоим соседствуя:
«Тот не храбрец, что в деле бранном
Думает о последствиях».

НЕ ЛЮБЛЮ, когда говорят: башкирский Блок, дагестанский Есенин... Каждый поэт — самостоятельная единица, независимая величина.

У МЕНЯ есть дальняя мечта — «Сказание о Дагестане». В. Солоухин перевел «Сказание о Хочбаре», ждут своего переложения на русский сказания о могущественном Шамиле и храбром Хаджи-Мурате.

На днях я читал аварцам строки из сказания о Махмуде, нашем певце любви. В молодости я считал, что это автор интимных стихов, которые обращены к одной возлюбленной. Отец ругал меня за узость взгляда. Теперь я понимаю, что это было гражданское мужество — так писать во времена Махмуда о женщине, так возносить ее. Против него были адат, аул, аллах, коран — все против него. Один «восстал он против мнений света». А для этой поэмы мне пришлось читать кое-какие архивные материалы, историческую литературу, где есть сведения о людях, с которыми сталкивался Махмуд на своем жизненном пути. Их не будет в сказании, но чтобы написать о Махмуде, я должен все про него знать.

«СТИХИ не пишутся — случаются», — сказал Вознесенский, А. Ахматова в цикле «Тайны ремесла» признавалась: «И просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь». Стихи ждешь, как ждешь на свидание любимую девушку, ты мучаешься, томишься, а ее все нет. И вдруг! — «Муза, это ты?» Бывает счастливый час, когда стихи «приходят», «слушаются». И существует мнение, что эти невесть откуда свалившиеся строки самые лучшие, самые удачные. Может быть, но, думаю, сияние нисходит на подготовленную почву, озарению предшествует труд души, идет внутренняя работа, вроде бы незаметная, неприметная, но... Никто не может знать, какие впечатления, какие токи любви и ненависти бегут по бесчисленным проводам моего организма, ничто их не уловит. Но потом получается стихотворение — самое высшее, что может породить моя душа из тех жизненных впечатлений, которые протекают сквозь меня. Другое дело — сказание, поэма. Тут работа налицо, подготовка «физическая». И Вознесенскому, думаю, когда он сочинял поэму «Авось!» о любви русского Резанова к сан-францисской красавице, пришлось и кое-что почитать, и в старых документах покопаться.

ХОЧУ собрать антологию русской поэзии в своих переводах, антологию тех стихов, которые душа к себе притягивает. 18-летним я начал переводить — напечатал тогда на аварском «Смерть поэта» — и по сей день занимаюсь переводом. Перевел много, классику в основном. Есенин, который близок мне, который подарил мне Россию, Русь, никак не поддается, не звучат, как хотелось, пока на моем аварском его стихи. А Маяковский, очень далекий от аварского стиха — пошел. Некрасова я сейчас перевел, нашел ключ к нему наконец. К каждому приходится подбирать особый ключ, потому что каждый замок со своим секретом, и чужеземцу не просто войти в этот дорогой ему, прекрасный, но не свой дом.

Перевод — необходимая, ничем не заменимая учеба, целая специальная школа. Чтение читателя и чтение переводчика — разное чтение. Я чуть ли не наизусть знаю пушкинскую «Полтаву», читал ее бессчетно, а сел переводить — другое чтение: со справочниками, энциклопедиями, исторической литературой. Для меня как переводчика главное — сохранить дух и характер произведения. Для русского стиха естественная рифма, а в аварском концевая рифма — словно пуговица на бурке. В аварском упор делается на аллитерацию, цезуру, традиционный размер. Когда переводишь, перенося формы поэзии одного языка на другой, нельзя нарушать формы этого другого языка, как нельзя, входя в дом, ломать замки. В Дагестане пытались переводить «Евгения Онегина» онегинской строфой — Пушкина не получалось, стих не жил. Когда перевели также Лермонтова, соблюдая законы русского, но нарушая традиции аварского стиха, горцы сказали автору перевода: «Не Мартынов убил для нас Лермонтова, а ты».

Я ОТНОШУСЬ к русским поэтам - переводчикам, как к летчикам, благодаря им мы оказываемся в короткий срок в дальних странах, на других континентах, а благодаря переводчикам—в самые разные точки планеты прибывают наши стихи. Мне очень повезло с переводчиками. Сначала И. Сельвинский, потом, когда в Литинституте учился, мои вещи начали переводить Я. Хелемский, Н. Гребнев, Я. Козловский, Е. Николаевская. Потом — Р. Рождественский, В. Солоухин, Ю. Нейман, Ю. Мориц. Они аварского не знают, но почувствовали нашу землю, нашу культуру, наш язык. Спасибо вам, друзья!

Еще о переводе. Меня тревожит, что перевод организовывается издательством. Запланированная книга распределяется строками по поэтам. Думаю, это одна из причин, почему так много появляется плохо, пестро переведенных книг. Перевод стал массовым производством, а на этом конвейере, на потоке не утерять бы художественное начало. Перевод — дело полюбовное, индивидуальное, одними руками, без души, без сердца его не сделаешь.

ПИШУ одновременно несколько вещей — «Суд идет», сатирические стихи, эпиграммы, завершил работу над книгой «Век и мир» — размышления о сегодняшнем дне, о нашей планете, о чувстве беспокойства за ее судьбу. Продолжаю трудиться над поэмой «Концерт». Мне рассказывали, что накануне первого дня войны в Бресте был концерт. Фашисты, ворвавшись в город, злорадствовали: вот теперь будет концерт — концерт смерти. Наши, наступая потом, дали название этой операции—«Концерт». Через десятилетия, слушая в Потсдаме концерт, я думал о тех кровавых концертах суровых сороковых. Это антивоенная поэма. По сути, все мои произведения последних лет — против войны, против бесчеловечности. Сказание о Махмуде и Мариам — тоже: кто дезертир в любви, тот и в схватке с врагом — дезертир.

МЫ ЧАСТО встречались с Твардовским, но он не касался моих произведений. Он говорил: «Некоторые советские интеллигенты стали тебя ценить». Когда я дал ему читать рукопись «Моего Дагестана», он пригласил меня в редакцию «Нового мира». «Ты произносишь длинный тост, — сказал он, — а я хочу скорее выпить. Твоя книга содержит много длиннот», — и он показал мне места, отчеркнутые карандашом. Я удивился, что его суждение совпало с мнением Фадеева, которое он выразил в письме ко мне в ноябре 1953 года, прочитав появившиеся почти одновременно в печати поэму «Разговор с отцом», стихотворение «Тост» и еще два стихотворения.

«Мне очень трудно сказать, где именно в этой поэме с ее раздумьем и с ее лирической силой имеются длинноты, но она, несомненно, выиграла бы, если бы была короче. Мне особенно хочется сказать об этом, поскольку замечательное стихотворение «Тост», написанное в другой, мажорной тональности, с большим темпераментом, и в то же время с Вашей, такой приметной интонацией, и конкретностью образов, тоже, однако, выиграло бы, если бы было примерно на две-три строфы короче. В этом отношении примером может служить стихотворение «Все, что в нас хорошего бывает...» В нем нет ничего лишнего». Так писал Фадеев, подробно разбирая прочитанное. Он хвалил: «Вы идете вперед и выше», — но я извлекал прежде всего уроки из его дружеской критики. И вдруг Твардовский сказал то же самое — было о чем задуматься.

Твардовский был очень сдержан в оценках, но когда в «Новом мире», который он в ту пору редактировал, появлялось хорошее, заметное произведение, Александр Трифонович признавался: «Такая радость, как будто я сам это написал». Я часто вспоминаю наши разговоры. Помню, как получал он Ленинскую премию и как один литератор начал ему пенять, что он мало публицистикой занимается, а Твардовский ответил: «Вся моя поэзия — это публицистика. Все, что я пишу, внутренне должно быть публицистично». Вспоминаю его всякий раз, когда по писательским, общественным делам надо отправляться в зарубежную поездку. Твардовский был приглашен в Америку и не поехал. «Если бы я воспользовался приглашением, — рассказывал он, — не закончил бы «За далью — даль». На меня всегда производило огромное впечатление, как хорошо он знал европейскую поэзию, восточную поэзию. Он любил прозу и рекомендовал: поэту надо больше прозу читать.

ПРОЗА не тогда хороша, когда рассказывает о том, что мы знаем, — хотя то, что знали, но забыли, не грех напомнить нам — а тогда, когда раскрывает нам новое, заставляет задуматься над тем, над чем мы раньше не сосредоточивались.

Надо ли поэту писать прозу? Тут уж как получится, как потребует материал. Попробовал обратиться к прозе и я — увидели свет две части «Моего Дагестана», третью никак не закончу.

Конечно, я не мог пройти мимо прозы А. Вознесенского, очень талантливого поэта, к которому за неуспокоенность, за неутомимость поиска испытываю уважение и любовь. О его прозе можно спорить — она дает поводы к этому, — но как интересны его наблюдения, детали, взгляд на известных мастеров культуры через собственную жизнь. Интересны его представления об искусстве, об известных всему миру именах. Это не самореклама, это откровенный разговор о СВОЕМ понимании крупных личностей, их творчества.

Показ своих отношений с ними не самоцель, с его помощью автор что-то утверждает, что-то отрицает. Эта проза об искусстве — не противовес той традиционной прозе, которую замечательно пишут Айтматов, Астафьев, как жаль, что приходится говорить «писал», Абрамов... Это другая проза, но они не находятся в противоборстве. Как все подлинное, прозу Вознесенского невозможно читать бегло, ее читаешь медленно — страницу за страницей, в ней не было для меня пустых мест, нечего было пропустить.

Кроме всего прочего, проза требует огромных знаний, большой подготовительной работы. Я не понимаю, как ухитряются некоторые авторы каждый год писать по роману, выдавать за несколько лет скоротечные эпопеи, дилогии, трилогии... И Фадеев, и Твардовский советовали мне: не спеши. «...Не слишком ли Вы торопитесь и не слишком ли много печатаете, ибо писать нужно много в смысле затрачиваемого на это дело количества труда, но не надо торопиться печатать все, что вышло из-под пера», — мудрое наставление Фадеева хочется передать всем, особенно тем молодым, кто в республике издает том за томом такой прозы, которую если и дочитаешь до конца, то вскоре и забудешь навсегда. Раньше у нас стихи становились пословицами, поговорками, были у всех на кончике языка, а теперь берут изречение, меткое слово и длинное-предлинное стихотворение пишут.

ОДНАЖДЫ мой друг и переводчик Я. Козловский привел меня к Маршаку, потом я часто бывал у него в гостях. Самуил Яковлевич хотел послушать, как звучит аварский язык. Он попросил меня рассказать какую-нибудь аварскую сказку. Я рассказал о Дингир - Дангарчи, веселом, неунывающем, по дождевой струе поднявшемся на небо. Маршаку сказка понравилась, и он повторял имя героя: «Дингир-Дангарчи, Дингир-Дангарчи», — оно звучало в его устах, словно мелодичный звон колокольчика. «Хорошо бы было написать книгу для детей о Дингир - Дангарчи, — советовал он, — а если в Дагестане будет детский журнал, то его так и назвать». Юным горцам в старые времена, чтобы проверить их сообразительность, находчивость, ум, давали три задания: тупым топором пень разрубить, вспахать каменистый склон и рассказать три сказки. Маршак тоже всякий раз заставлял меня рассказывать сказки, легенды, притчи, рассказывать об ауле Цада, об отце, о себе...

Потом в предисловии, которое он написал для моего двухтомника, я прочитал: «На Кавказе говорят, что самой искусной и тонкой насечкой на оружии славится аул Кубачи, а самыми меткими пословицами — аул Цада. От этих пословиц, от народных песен и легенд ведет прямая тропа к поэзии Расула Гамзатова... Но истоки стихов Гамзатова—не только в народной поэзии горцев. Помню, как при одной из наших встреч Расул рассказал мне, что его вскормили две женщины: когда заболела мать, его кормила грудью горская крестьянка. В литературе у него тоже были две кормилицы: поэзия Востока и великая русская поэзия...».

Сказать, что общение с Маршаком давало очень много, — ничего не сказать: это было больше, чем университет. Я любил ездить к нему с Твардовским. Свидетелем каких бесед, каких литературных споров, баталий я был! Мне выпало бесценное счастье быть очевидцем дружбы этих двух людей, разных по натуре, характеру, возрасту, по всему разных, но их сблизила, сроднила Поэзия, и перед ней, Поэзией, все личное отодвинулось, осталось где-то далеко. Маршак читал свои переводы, раскрывал историю каждой вещи, Твардовский не скрывал восторга: «Как звучит по-русски!».

Судьба одарила меня добрым знакомством, веселым товариществом, радостной, надежной дружбой с замечательными людьми. Очень много дало мне общение с К. Чуковским. Тихонов, Смеляков, Светлов — моя жизнь, моя судьба, моя литературная работа немыслимы без них. В Литинституте я был в семинаре Антокольского. Тому, первому послевоенному набору очень повезло: какая атмосфера товарищества была, какой дух братства, какие учителя нас учили! У меня было много друзей в республиках, есть они и сейчас. К сожалению, годы уводят от нас навсегда дорогих нам людей, и сегодня уже нет многих из тех, кто оказал на меня неоценимое художническое, человеческое воздействие.

СКОЛЬКО лет творческой жизни за плечами? Трудно определить.

Я родился и вырос в семье поэта и рано начал писать стихи. Мне не было двадцати лет, когда вышла первая книжка на аварском языке, но это не было началом. Я считаю началом своей творческой жизни то время, когда люди стали меня читать, а не брать газету с моими стихами на раскурку. Первые стихи я писал к календарным датам, как метко определил Евтушенко, — это «датская поэзия». Когда в Литинститут поступил, думал, что тут вот и началась моя творческая деятельность. Оказывается, это тоже не начало. Я находился под сильным влиянием хороших и разных русских поэтов, и это была утрата дагестанской почвы. Я из аула уехал, а до города не доехал: так, что-то среднее. Меня упрекали, и справедливо, мне говорили: надо стать известным у себя в ауле, а потом в Москве. Поэтом, считаю, стал тогда, когда появились стихи, которые я мог и в ауле читать, и в Москве. Всегда на первом курсе мы думаем, что мы прекрасные поэты, только на пятом начинаем сомневаться. Я лично сомнение предпочитаю самомнению.

Сейчас, когда оглядываюсь, осознаю: что-то можно было не писать, а многое я не написал пока. У кубачинских златокузнецов есть средство «казаб», с помощью которого они отличают настоящее золото от фальшивого. Есть такое средство и у читателей, особое чувство подлинных ценителей истинного поэтического слова, которое они сразу выделяют среди множества других, какими бы замысловатыми узорами ни были украшены эти другие — пустозвонные словеса.

Когда тебя читают земляки, когда народ приходит на твои вечера, когда заполняются многотысячные Лужники, два чувства властвуют над тобой: признательность и ответственность. Люди пришли к тебе — спасибо им, говори с ними честно, неси правду, зови к добру. Поэт достигает своей цели только тогда, когда, склонясь над его строкой, читатель думает: «Здесь и мои мысли, и мои чувства, здесь я сам».

(«Литературная газета», № 34 от 24 августа 1983 г.).

ИЗ АРХИВА ФОТОЖУРНАЛИСТА.

Р. ГАМЗАТОВ и К. СИМОНОВ.

Фото Р. Дика.

Абдулла ДАГАНОВ.

ЧИТАЮ ПОЭТА

Салам, рожденные на скалах
Под сенью пиков величавых!
Салам! Я не был здесь давно.
Везде бывал, краям родимым
Не изменял, был верным сыном —
Ведь сердце у меня одно.
Читаю Гамзатова.

Земля — как будто мой ребенок,
Я думаю о ней спросонок,
Я вижу степь, лес, океан,
Саванну, льды, пустынь просторы,
Людей в заботах, вижу горы,
Спешу — я вижу Дагестан!
Читаю Гамзатова.

Весна, как девушка румяна,
Пришла
И солнце неустанно.
И дождь к крестьянину пришел.
Труд вечен, как сама природа.
Труд — радость, нынче утро года.
Я слышу, слышу песни пчел.
Читаю Гамзатова.

Путь [illegible]дца к сердцу неизведан.
А у крыльца уж конь оседлан,
И па[illegible]ь только ночи ждет.
Да, страсть любви всего сильнее.
Где милая?
Он мчит за нею,
Достигнет он любых высот!
Читаю Гамзатова.

Гуляет ветер возле сакли,
Деревья голые озябли.
Зима пришла, и ночь темна.
Светильник на гвозде у входа
Дрожит.
Печалится природа,
Как сердце, ранена она.
Читаю Гамзатова.

Кинжалов треск. Глухие стоны,
Спор, жаркой кровью обагренный.
И жертвы, жертвы... Их не счесть.
Рыданья женщин и проклятья.
И черные платки и платья.
И хоть через столетье — месть.
Читаю Гамзатова.

Мать молча смотрит на дорогу.
Стихает ветер понемногу.
Мать плачет — сыновья ушли.
Их путь пролег сквозь слезы эти,
Как, впрочем, все пути на свете —
Сквозь слезы матерей земли.
Читаю Гамзатова.

Кто я? Что для людей я значу?
И не напрасно ль силы трачу?
Держать ответ пришел черед.
Служить Отчизне — вот призванье.
Мой разум, воля и дыханье—
Твои навеки, мой народ.
...Читаю Гамзатова.

Перевел с аварского Н. Злотников.